

*Вперед, заре навстречу, товарищи в борьбе!
Штыками и картечью проложим путь себе...
Чтоб труд владыкой мира стал
И всех в одну семью спаял,
В бой, молодая гвардия рабочих и крестьян!*

Песня молодежи

Глава 1

— Нет, ты только посмотри, Валя, что это за чудо! Прелесть... Точно изваяние, — но из какого чудесного материала! Ведь она не мраморная, не алебастровая, а живая, но какая холодная! И какая тонкая, нежная работа, — человеческие руки никогда бы так не сумели. Смотри, как она покоится на воде, чистая, строгая, равнодушная... А это ее отражение в воде, — даже трудно сказать, какая из них прекрасней, — а краски? Смотри, смотри, ведь она не белая, то есть она белая, но сколько оттенков — желтоватых, розоватых, каких-то небесных, а внутри, с этой влагой, она жемчужная, просто ослепительная, — у людей таких и красок и названий-то нет!..

Так говорила, высунувшись из ивового куста на речку, девушка с черными волнистыми косами, в яркой белой кофточке и с такими прекрасными, раскрывшимися от внезапно хлынувшего из них сильного света, повлажневшими черными глазами, что сама она походила на эту лилию, отразившуюся в темной воде.

— Нашла время любоваться! И чудная ты, Уля, ей-богу! — отвечала ей другая девушка, Валя, вслед за ней высунувшая на речку чуть скуластое и чуть курносенькое, но очень миловидное свежей своей молодостью и добротой лицо. И, не взглянув на лилию, беспокойно искала взглядом на берегу девушек, от которых они отбились. — Ау!..

— Ау... ау... уу!.. — отозвались на разные голоса совсем рядом.

— Идите сюда!.. Уля нашла лилию, — сказала Валя, любовно насмешливо взглянув на подругу.

И в это время снова, как отзвуки дальнего грома, слышались перекаты орудийных выстрелов — оттуда, с северо-запада, из-под Ворошиловграда.

— Опять!

— Опять... — беззвучно повторила Уля, и свет, с такой силой хлынувший из глаз ее, потух.

— Неужто они войдут на этот раз! Боже мой! — сказала Валя. — Помнишь, как в прошлом году переживали? И все обошлось! Но в прошлом году они не подходили так близко. Слышишь, как бухает?

Они помолчали прислушиваясь.

— Когда я слышу это и вижу небо, такое ясное, вижу ветви деревьев, траву под ногами, чувствую как ее нагрело солнышко, как она вкусно пахнет, — мне делается так больно, словно все это уже ушло от меня навсегда, навсегда, — грудным волнующимся голосом заговорила Уля. — Душа, кажется, так очерствела от этой войны, ты уже приучила ее не допускать в себя ничего, что может смягчить ее, и вдруг прорвется такая любовь, такая жалость ко всему!.. Ты знаешь, я ведь только тебе могу говорить об этом.

Лица их среди листвы сошлись так близко, что дыхание их смешивалось, и они прямо глядели в глаза друг другу. У Вали глаза были светлые, добрые, широко расставленные, они с покорностью и обожанием встречали взгляд подруги. А у Ули глаза были большие, темно-карие, — не глаза, а очи, с длинными ресницами, молочными белками, черными таинственными зрачками, из самой, казалось, глубины которых снова струился этот влажный сильный свет.

Дальние гулкие раскаты орудийных залпов, даже здесь, в низине у речки, отдававшиеся легким дрожанием

4 листвы, всякий раз беспокойной тенью отражались

на лицах девушек. Но все их душевные силы были отданы тому, о чем они говорили.

— Ты помнишь, как хорошо было вчера в степи вечером, помнишь? — понизив голос, спрашивала Уля.

— Помню, — прошептала Валя. — Этот закат. Помнишь?

— Да, да... Ты знаешь, все ругают нашу степь, говорят, она скучная, рыжая, холмы да холмы, будто она бесприютная, а я люблю ее. Помню, когда мама еще была здоровая, она работает на баштане, а я, совсем еще маленькая, лежу себе на спине и гляжу высоко, высоко, думаю, ну как высоко я смогу посмотреть в небо, понимаешь, в самую высочину? И мне вчера так больно стало, когда мы смотрели на закат, а потом на этих мокрых лошадях, пушки, повозки, на раненых... Красноармейцы идут такие измученные, запыленные. Я вдруг с такой силой поняла, что это никакая не перегруппировка, а идет страшное, да, именно страшное, отступление. Ты заметила?

Валя молча кивнула головой.

— Я как посмотрела на степь, где мы столько песен спели, да на этот закат, и еле слезы сдержала. А ты часто видела меня, чтобы я плакала? А помнишь, когда стало темнеть?.. Эти все идут, идут в сумерках, и все время этот гул, вспышки на горизонте и зарево, — должно быть, в Ровеньках, — и закат такой тяжелый, багровый. Ты знаешь, я ничего не боюсь на свете, я не боюсь никакой борьбы, трудностей, мучений, но если бы знать, как поступить... Что-то грозное нависло над нашими душами, — сказала Уля, и мрачный, тусклый огонь позолотил ее очи.

— А ведь как мы хорошо жили, ведь правда, Улечка? — сказала Валя с выступившими на глаза слезами.

— Как хорошо могли бы жить все люди на свете, если бы они только захотели, если бы они только понимали! — сказала Уля. — Но что же делать, что же

делать! — совсем другим, детским голоском нараспев сказала она, и в глазах ее заблестело озорное выражение.

Она быстро сбросила туфли, надетые на босу ногу, и, подхватив в узкую загорелую жменю подол темной юбки, смело вошла в воду.

— Девочки, лилия!.. — воскликнула выскочившая из кустов тоненькая и гибкая, как тростинка, девушка с мальчишескими отчаянными глазами. — Нет, чур моя! — взвизгнула она и, резким движением подхватив обеими руками юбку, блеснув смуглыми босыми ногами, прыгнула в воду, обдав и себя и Улю веером янтарных брызг. — Ой, да тут глубоко! — со смехом сказала она, провалившись одной ногой в водоросли и пятясь.

Девушки — их было еще шестеро — с шумным говором высыпали на берег. Все они, как и Уля, и Валя, и только что прыгнувшая в воду тоненькая девушка Саша, были в коротких юбках, в простеньких кофтах. Донецкие каленые ветры и палящее солнце, будто нарочно, чтобы оттенить физическую природу каждой из девушек, у той позолотили, у другой посмуглили, а у иной прокалили, как в огненной купели, руки и ноги, лицо и шею до самых лопаток.

Как все девушки на свете, когда их собирается больше двух, они говорили, не слушая друг друга, так громко, отчаянно, на таких предельно высоких, визжащих нотах, будто все, что они говорили, было выражением уже самой последней крайности и надо было, чтобы это знал, слышал весь белый свет.

— ...Он с парашютом сиганул, ей-богу! Такой славненький, кучерявенький, беленький, глазки, как пуговички!

— А я б не могла сестрой, право слово, — я крови ужас как боюсь!

— Да неужто ж нас бросят, как ты можешь так говорить! Да быть того не может!

— Ой, какая лилия!

6 — Майечка, цыганочка, а если бросят?

- Смотри, Сашка-то, Сашка то!
- Так уж сразу и влюбиться, что ты, что ты!
- Улька, чудик, куда ты полезла?
- Еще утонете, скаженные!..

Они говорили на том характерном для Донбасса смешанном грубоватом наречии, которое образовалось от скрещения языка центральных русских губерний с украинским народным говором, донским казачьим диалектом и разговорной манерой азовских портовых городов — Мариуполя, Таганрога, Ростова-на-Дону. Но как бы ни говорили девушки по всему белу свету, все становится милым в их устах.

— Улечка, и зачем она тебе сдалась, золотко мое?— говорила Валя, беспокожно глядя добрыми, широко расставленными глазами, как уже не только загорелые икры, но и белые круглые колени ушли под воду.

Осторожно нащупывая поросшее водорослями дно одной ногой и выше подобрав подол, так что видны стали края ее черных штанишек, Уля сделала еще шаг и, сильно перегнув высокий стройный стан, свободной рукой подцепила лилию. Одна из тяжелых черных кос с пушистым расплетенным концом опрокинулась в воду и поплыла, но в это мгновение Уля сделала последнее, одними пальцами, усилие и выдернула лилию вместе с длинным-длинным стеблем.

— Молодец, Улька! Своим поступком ты вполне заслужила звание героя союза... Не всего Советского Союза, а скажем, нашего союза неприкаянных девчат с рудника Первомайки! — стоя по икры в воде и тараща на подружку округлившись мальчишеские карие глаза, говорила Саша. — Давай квяток! — И она, зажав между колен юбку, своими ловкими тонкими пальцами вправила лилию в черные, крупно вьющиеся по вискам и в косах Улины волосы. — Ой, как идет тебе, аж завидки берут!..
Обожди, — вдруг сказала она, подняв голову и при-

слушиваясь. — Скребется где-то... Слышите, девочки? Вот проклятый!..

Саша и Уля быстро вылезли на берег.

Все девушки, подняв головы, прислушивались к прерывистому, то тонкому, осиному, то низкому, урчащему, рокоту, стараясь разглядеть самолет в раскаленном добела воздухе.

— Не один, а целых три!

— Где, где? Я ничего не вижу...

— Я тоже не вижу, я по звуку слышу...

Вибрирующие звуки моторов то сливались в одно нависающее грозное гудение, то распались на отдельные, пронзительные или низкие, рокочущие звуки. Самолеты гудели уже где-то над самой головой, и, хотя их не было видно, точно черная тень от их крыльев прошла по лицам девушек.

— Должно быть, на Каменск полетели, переправу бомбить...

— Или на Миллерово.

— Скажешь — на Миллерово! Миллерово сдали, разве не слыхала сводку вчера?

— Все одно, бои идут южнее.

— Что же нам делать, девчата? — говорили девушки, снова невольно прислушиваясь к раскатам дальней артиллерийской стрельбы, которая, казалось, приблизилась к ним.

Как ни тяжела и ни страшна война, какие бы жестокие потери и страдания ни несла она людям, юность с ее здоровьем и радостью жизни, с ее наивным добрым эгоизмом, любовью и мечтами о будущем не хочет и не умеет за общей опасностью и страданием видеть опасность и страдание для себя, — пока они не нагрянут и не нарушат ее счастливой походки.

Уля Громова, Валя Филатова, Саша Бондарева и все остальные девушки только этой весной окончили

8 школу-десятилетку на руднике Первомайском.

Окончание школы — это немаловажное событие в жизни молодого человека, а окончание школы в дни войны — это событие совсем особенное.

Все прошлое лето, когда началась война, школьники старших классов, мальчики и девочки, как их все еще звали, работали в прилегающих к городу Краснодону колхозах и совхозах, на шахтах, на паровозостроительном заводе в Ворошиловграде, а некоторые ездили даже на Сталинградский тракторный, делавший теперь танки.

Осенью немцы вторглись в Донбасс, заняли Таганрог и Ростов-на-Дону. Из всей Украины одна Ворошиловградская область еще оставалась свободной от немцев, и власть из Киева, отступавшая с частями армии, перешла в Ворошиловград, а областные учреждения Ворошиловграда и Сталино, бывшей Юзовки, расположились теперь в Краснодоне.

До глубокой осени, пока установился фронт на юге, люди из занимаемых немцами районов Донбасса все шли и шли через Краснодон, меж рыжую грязь по улицам, и казалось, грязи становится все больше и больше оттого, что люди наносят ее со степи на своих чоботах. Школьники совсем было приготовились к эвакуации в Саратовскую область вместе со своей школой, но эвакуацию отменили. Немцы были задержаны далеко за Ворошиловградом, Ростов-на-Дону у немцев отбили, а зимой немцы понесли поражение под Москвой, началось наступление Красной Армии, и люди надеялись, что все еще обойдется.

Школьники привыкли к тому, что в их уютных квартирах, в стандартных каменных, под этернитовыми крышами домиках в Краснодоне, и в хуторских избах Первомайки, и даже в глиняных мазанках на Шанхае — в этих маленьких квартирках, казавшихся в первые недели войны опустевшими оттого, что ушел на фронт отец или брат — теперь живут, ночуют, меняются чужие люди: работники пришлых учреждений, бойцы и команди-

ры ставших на постой или проходивших на фронт частей Красной Армии.

Они научились распознавать все роды войск, воинские звания, виды оружия, марки мотоциклов, грузовых и легковых машин, своих и трофейных, и с первого взгляда разгадывали типы танков — не только тогда, когда танки тяжело отдыхали где-нибудь сбоку улицы, под прикрытием тополей, в мареве струящегося от брони раскаленного воздуха, а и когда, подобно грому, катились по пыльному ворошиловградскому шоссе и когда буксовали по осенним расползшимся, и по зимним, заснеженным, военным шляхам на запад.

Они уже не только по обличью, а и по звуку различали свои и немецкие самолеты, различали их и в пылающем от солнца, и в красном от пыли, и в звездном, и в черном, несущемся вихрем, как сажа в аду, донецком небе.

— Это наши «лаги» (или «миги», или «яки»), — говорили они спокойно.

— Вон «мессера» пошли!..

— Это «Ю-87» пошли на Ростов, — небрежно говорили они.

Они привыкли к ночным дежурствам по отряду ПВХО, дежурствам с противогазом через плечо, на шахтах, на крышах школ, больниц, и уже не содрогались сердцем, когда воздух сотрясался от дальней бомбежки и лучи прожекторов, как спицы, скрещивались вдаль, в ночном небе над Ворошиловградом, и зарева пожаров вставали то там, то здесь по горизонту, и когда вражеские пикировщики среди бела дня, внезапно вывернувшись из глубины небес, с воем обрушивали фугаски на тянувшиеся далеко в степи колонны грузовиков, а потом долго еще били из пушек и пулеметов вдоль по шоссе, от которого в обе стороны, как распоротая глицсером вода, разбегались бойцы и кони.

Они полюбили дальний путь на колхозные поля,
10 песни во весь голос на ветру с грузовиков в степи,

летнюю страду среди необъятных пшениц, изнемогающих под тяжестью зерна, задушевные разговоры и внезапный смех в ночной тиши, где-нибудь в овсяной полове, и долгие бессонные ночи на крыше, когда горячая ладонь девушки, не шелохнувшись, и час, и два, и три покоится в шершавой руке юноши, и утренняя заря занимается над бледными холмами, и роса блестит на серовато-розовых этернитовых крышах, на красных помидорах и каплет со свернувшихся желтеньких, как цветы мимозы, осенних листочков акаций прямо на землю в палисаднике, и пахнет загнивающими в сырой земле корнями отвянувших цветов, дымом дальних пожарищ, и петух кричит так, будто ничего не случилось...

И вот этой весной они окончили школу, простились со своими учителями и организациями, и война, точно она их ждала, глянула им прямо в очи.

23 июня наши войска отошли на Харьковском направлении. 2 июля завязались бои на Белгородском и Волчанском направлениях с перешедшим в наступление противником. А 3 июля, как гром, разразилось сообщение по радио, что нашими войсками после восьмимесячной обороны оставлен город Севастополь.

Старый Оскол, Россось, Кантемировка, бои западнее Воронежа, бои на подступах к Воронежу, 12 июля — Лисичанск. И вдруг хлынули через Краснодар наши отступающие части.

Лисичанск — это было уже совсем рядом. Лисичанск — это значило, что завтра в Ворошиловград, а послезавтра сюда, в Краснодар и Первомайку, на знакомые до каждой травинки улочки с пыльными жасминами и сиренями, выпирающими из палисадников, в дедов садочек с яблонями и в прохладную, с закрытыми от солнца ставенками хату, где еще висит на гвозде, направо от дверей, шахтерская куртка отца, как он ее сам повесил, придя с работы, перед тем как идти в военкомат, — в хату, где мате-

ринские теплые, в жилочках, руки вымыли до блеска каждую половицу и полили китайскую розу на подоконнике, и набросили на стол пахнущую свежестью сурового полотна цветастую скатерку, — может войти, войдет немец!

В городе так прочно, будто на всю жизнь, обосновались очень положительные, рассудительные, всегда все знавшие бритые майоры-интенданты, которые с веселыми прибаутками перекидывались с хозяевами в карты, покупали на базаре соленые кавуны, охотно объясняли положение на фронтах и при случае даже не щадили консервов для хозяйского борща. В клубе имени Горького при шахте № 1-бис и в клубе имени Ленина в городском парке всегда крутилось много лейтенантов, любителей потанцевать, веселых и не то обходительных, не то озорных — не поймешь. Лейтенанты то появлялись в городе, то исчезали, но всегда наезжало много новых, и девушки так привыкли к их постоянно меняющимся загорелым мужественным лицам, что все они казались уже одинаково своими.

И вдруг их сразу никого не стало.

На станции Верхнедудуванной, этом мирном полустанке, где, возвращаясь из командировки или поездки к родне, или на летние каникулы после года учения в вузе, каждый краснодонец считал себя уже дома, — на этой Верхнедудуванной и по всем другим станциям железной дороги на Лихую — Морозовскую — Сталинград грудились станки, люди, снаряды, машины, хлеб.

Из окон домиков, затененных акациями, кленочками, тополями, слышался плач детей, женщин. Там мать снаряжала ребенка, уезжавшего с детским домом или школой, там провожали дочь или сына, там муж и отец, покидавший город со своей организацией, прощался с семьей. А в иных домиках с закрытыми наглухо ставнями стояла такая тишина, что еще страшнее материнского плача, — дом или вовсе опустел, или, может быть, одна старуха-мать, проводив

12 всю семью, опустив черные руки, неподвижно сиде-

ла в горнице, не в силах уже и плакать, с железною мукою в сердце. Девушки просыпались утром под звуки дальних орудийных выстрелов, ссорились с родителями, — девушки убеждали родителей уезжать немедленно и оставить их одних, а родители говорили, что жизнь их уже прошла, а вот девушкам-комсомолкам надо уходить от греха и беды, — девушки наскоро завтракали и бежали одна к другой за новостями. И так, сбившись в стайку, как птицы, изнемогая от жары и неприкаянности, они то часами сидели в полутемной горенке у одной из подруг или под яблоней в садочке, то убегали в тенистую лесную балку у речки, в тайном предчувствии несчастья, какое они даже не в силах были охватить ни сердцем, ни разумом. И вот оно разразилось.

— Ворошиловград уже, поди, сдали, а нам не говорят! — резким голосом сказала маленькая широколицая девушка с остреньким носом, блестящими гладкими, точно приклеенными, волосами и двумя короткими и бойкими, торчащими вперед косицами.

Фамилия этой девушки была Вырикова, а звали ее Зиной, но с самого детства никто в школе не звал ее по имени, а только по фамилии: Вырикова да Вырикова.

— Как ты можешь так рассуждать, Вырикова? Не говорят — значит, еще не сдали, — сказала Майя Пегливанова, природно смуглая, как цыганка, красивая черноокая девушка, и самолюбиво поджала нижнюю полную свою вольную губку.

В школе, до выпуска этой весной, Майя была секретарем комсомольской организации, привыкла всех поправлять и всех воспитывать, и ей вообще хотелось, чтобы всегда все было правильно.

— Мы давно знаем все, что ты можешь сказать: «Девочки, вы не знаете диалектики!» — сказала Вырикова, так похоже на Майю, что все девушки засмеялись. — Скажут нам правду, держи карман пошире! Верили, верили и веру потеряли! — говорила Вырикова, посверки-

вая близко сведенными глазами и, как жучок — рожки, воинственно топыря свои торчащие вперед острые косицы. — Наверно, опять Ростов сдали, нам и тикать некуда. А сами драпают! — сказала Вырикова, видимо, повторяя слова, которые она часто слышала.

— Странно ты рассуждаешь, Вырикова, — стараясь не повышать голоса, говорила Майя. — Как можешь ты так говорить? Ведь ты же комсомолка, ты ведь была пионервожатой!

— Не связывайся ты с ней, — тихо сказала Шура Дубровина, молчаливая девушка постарше других, коротко остриженная по-мужски, безбровая, с диковатыми светлыми глазами, придававшими ее лицу странное выражение.

Шура Дубровина, студентка Харьковского университета, в прошлом году, перед занятием Харькова немцами, бежала в Краснодон к отцу, сапожнику и шорнику. Она была года на четыре старше остальных девушек, но всегда держалась их компании; она была тайно, по-девичьи, влюблена в Майю Пегливанову и всегда и везде ходила за Майей, — «как нитка за иголкой», говорили девушки.

— Не связывайся ты с ней. Коли она уже такой колпак надела, ты ее не переколпачишь, — сказала Шура Дубровина Майе.

— Все лето гоняли окопы рыть, сколько на это сил убили, я так месяц болела, а кто теперь в этих окопах сидит? — не слушая Майи, говорила маленькая Вырикова. — В окопах трава растет! Разве не правда?

Тоненькая Саша с деланным удивлением приподняла острые плечи и, посмотрев на Вырикову округлившимися глазами, протяжно свистнула.

Но, видно, не столько то, что говорила Вырикова, сколько общее состояние неопределенности заставляло девушек с болезненным вниманием прислушиваться к ее словам.

— Нет, в самом деле, ведь положение ужасное? — робко взглядывая то на Вырикову, то на Майю,

сказала Тоня Иванихина, самая младшая из девушек, крупная, длинноногая, почти девочка, с крупным носом и толстыми заправленными за крупные уши прядями темного-каштановых волос. В глазах у нее заблестели слезы.

С той поры как в боях на Харьковском направлении пропала без вести ее любимая старшая сестра Лиля, с начала войны ушедшая на фронт военным фельдшером, все, все на свете казалось Тоне Иванихиной непоправимым и ужасным, и ее унылые глаза всегда были на мокром месте.

И только Уля не принимала участия в разговоре девушек и, казалось, не разделяла их возбуждения. Она расплела замокший в реке конец длинной черной косы, отжала волосы, заплела косу, потом, выставляя на солнце то одну, то другую мокрые ноги, некоторое время постояла так, нагнув голову с этой белой лилией, так шедшей к ее черным глазам и волосам, точно прислушиваясь к самой себе. Когда ноги обсохли, Уля продолговатой ладошкой обтерла подошвы загорелых по высокому суховатому подъему и словно обведенных светлым ободком по низу ступней, обтерла пальцы и пятки и ловким привычным движением сунула ноги в туфли.

— Эх, дура я, дура! И зачем я не пошла в спецшколу, когда мне предлагали? — говорила тоненькая Саша. — Мне предлагали в спецшколу энкаведе, — наивно разъяснила она, поглядывая на всех с мальчишеской беспечностью, — осталась бы я здесь, в тылу у немцев, вы бы даже ничего не знали. Вы бы тут все как раз зажурились, а я себе и в ус не дую. «С чего бы это Сашка такая спокойная?» А я, оказывается, здесь остаюсь от энкаведе! Я бы этими немцами-дурачками, — вдруг фыркнула она, с лукавой издевкой взглянув на Вырикову, — я бы этими немцами-дурачками вертела, как хотела!

Уля подняла голову и серьезно и внимательно посмотрела на Сашу, и что-то чуть дрогнуло у нее в